А.Г. Терентьев
Рассказ из книги «Такая доля…»

Санинструктор Машенька

Сегодня ночью сердце опять забастовало. Врачи, узнав об этом, предписали покой. В квартире я один. Все домашние разошлись по своим делам. А я лежу и вспоминаю то свое последнее ранение на вислинском плацдарме. Ты, Машенька, перевязала меня прямо в окопе, своим телом прикрывая от сыпавшейся сверху земли — ее поднимало близкими разрывами. Вот давай и поговорим, Машенька, пока нам никто не мешает.

В прошлое лето я, наконец, выбрал время навестить дорогие для нас места. А то все недосуг, все некогда. Пусть и поздновато, но все-таки я хорошо сделал, что съездил. Отныне-то дальние рейсы мне заказаны. Но стараюсь, Машенька, держаться без нытья, стараюсь. В тягость не хочу быть никому.

Помнишь, Машенька, где мы впервые встретились? Впрочем, ты не можешь этого помнить. Мы тогда прорывались из окружения. Только-только рассветало. Увидели с товарищем, как ты упала. Подхватили тебя. Ты ведь знаешь, как трудно тащить раненого и одновременно стрелять с одной руки, да еще и на бегу. Так что ты уж нас прости, Машенька. Твои ноги волочились по земле. Ты страшно вскричала от боли, а у нас не было возможности устроить тебя поудобнее. Счет велся тогда на секунды, и промедли мы лишние мгновения — полегли бы на том льняном поле. С тех я невзлюбил льняные поля. Бежать по ним — что по спутанной проволоке. Но мы прорвались в лес. На небольшой прогалине положили тебя. Ты уже не кричала. Ты открыла глаза, убедилась, что возле тебя свои, — и, показалось нам, умерла...

Но нет, ты воскресла. Ты не могла не воскреснуть, раз была нужна нам. Только ты воскресла несколько другой. В первой своей короткой жизни ты была коренастенькой дивчиной, рано познавшей нелегкий крестьянский труд. Соломенные твои кудряшки не умещались под пилотку. А воскресла смуглянкой, недоучившейся студенткой. При взгляде на твою тонюсенькую талию мы только мысленно ахали: ну как ты не надломишься? Дело прошлое, признайся, Машенька, тебе нравилось нас немножко поддразнивать? Вижу, как ты улыбаешься. Такой ты и пошла с нами в обратную дорогу: с востока на запад. Многое

Помнишь, как мы, раненые, замерзали в подполье? Наш батальон выбил немцев из деревни. Вернее сказать - из бывшей деревни, поскольку в ней не уцелело ни одной постройки, а видны были только припорошенные грязным снегом груды головешек да битого кирпича. Дальше батальон продвинуться не смог. Противник закрепился на высоте. Его пулеметы секли каждого, кто пытался проникнуть в деревню или покинуть ее. Уж не знаю, где хоронились легкораненые, а нас — обезноживших — сносили в единственное уцелевшее подполье. Почему-то запомнилось: в нем сильно пахло гнилой картошкой.

Мы лежали чуть ли не друг на друге. Обескровленные, быстро коченели в промерзшем насквозь укрытии. Ты металась от одного раненого к другому, пытаясь своим дыханием согреть нас. Ты накричала на своего помощника, пожилого санитара. И он покорно выбрался наружу под пули. Сколько времени он там пробыл – не знаю: сознание то возвращалось ко мне, то я вновь проваливался в бездонную темноту. Санитар вернулся с ворохом шинелей. На груди они были распороты поперек, рукава отрезаны - иначе с закоченевших трупов их не снимешь. Ты принялась укутывать нас в эти шинели. Санитар помогал тебе одной рукой, держа на отлете другую — пробитую пулей. Потом, всхлипывая, ты его перевязывала, а он гладил тебя по голове и что-то тихо говорил. Я

вновь потерял сознание. Очнулся уже в санбате. Ума не приложу, как ты нас тогда уберегла, Машенька?

А помнишь — под Витебском? Мы шли сутки, почти без привалов. Сверху снег пополам с дождем, а под ногами болотина до колен, а местами того глубже. Вся техника тонула в этой хляби, а измученных лошадей пришлось оставить на полпути. Мы брели как в полусне: только бы не упасть, только выдрать ногу из засасывающего месива. Ты тоже шла с нами. Из-за малого твоего росточка тебе приходилось еще тяжелее, чем нам. Ребята, которые покрепче, подстраховывали тебя, чтобы ты, споткнувшись, не упала в раскисшую хлябь. Надеялись: доберемся до назначенного места — там обсушимся и передохнем. А место оказалось — ложись да помирай. В окопах ледяная каша, а в утлых землянках подтекает сверху, снизу и с боков. Нашему отделению еще повезло: нам досталась землянка тоже сырая, но тепло в ней немного держалось. Бойцы, которых мы сменили, оставили нам топившуюся печурку, изготовленную из пробитого ведра, к ней грудку сухих дощечек от снарядных ящиков.

У нас не хватило сил хотя бы пожевать размокшие в вещмешках сухари. Мы вповалку втиснулись на уложенные прямо на землю нары. Твоего прихода уже не слышали. Но сержант еще не спал. Вход в землянку напоминал нору. Ты вползла. Обняла прогорающую печурку, и в полной темноте сержант услышал, как тебя всю трясет. Сержант уперся в стенку руками и коленками, до предельной плотности спрессовал нас. Я проснулся. Сержант велел тебе лечь на освободившееся место. Стянул с тебя разбухшие сапоги. Сдернул с меня плащ-палатку и укутал ею твои и мои ноги.

Ты лежала лицом ко мне, спиной к сержанту. Тебя било, как в лихорадке. Твои прижатые к груди кулачки, наши волглые шинели мешали теплу наших тел слиться воедино. Я наощупь заставил тебя высвободить руки из рукавов шинели. То же самое сделал сам. Я обнял тебя: мне просто больше некуда было убрать руки. Ты напряглась всем телом, пытаясь отодвинуться от меня. Но было слишком тесно. Вскоре я почувствовал, что ты начала искать место своей неудобно прижатой руке. Сперва ты робко просунула ее мне под мышки, а затем обхватила мою спину. Пригревшись, мы уснули.

Потом ты частенько забегала к нам в землянку. Ребята зубоскалили, почему ты в ту ночь легла лицом ко мне, а не к сержанту. Вгоняя сержанта в краску, ты смеялась, что он для тебя староват. А нашему «старику» не исполнилось тогда и девятнадцати. Девятнадцать ему вообще никогда так и не исполнилось. Вскоре раненый, он захлебнулся в болоте. Ты стояла над ним и не могла плакать, а только судорожно глотала воздух. Ты обмыла ему лицо, первой кинула горсть земли в его могилу...

Летом и тебя зацепило, но не сильно: ты отлежалась в санбате.

От Витебска мы двинулись дальше на запад. Ты, Машенька, шла с нами.

Уже в конце лета пересекли границу. Помнишь первый обихоженный фольварк? Было чудесное утро, в какое на фронтовиков находит томление души. Тогда хочется уединиться на пригорок среди поля, опрокинуться на спину и сквозь застилающую глаза влажную пелену смотреть на плывущие в вышине облака, вслушиваться и не слышать, что творится вокруг.

Вот в такое утро ты чем-то провинилась перед командиром нашего стрелкового полка. Подполковник сердито выговорил тебе, что уж если ты заводишь амуры, то заводи с ребятами своего полка, а не с артиллеристами-лодырями, не танкистами — они насквозь пропитались соляром, и долго после войны их придется отмывать в щелоке. Но летчики — хвастуны, от них тоже держись подальше.

Ты стояла, касаясь плечом стены сарая, и совсем не покаянно улыбалась. Подполковник повысил голос. Ты прыснула в кулачок. Мы тоже засмеялись. Попало и нам.

Но ты умно тогда поступила. Вечером ты сама привела к подполковнику старшего лейтенанта, служившего в артполку нашей же стрелковой дивизии. Между офицерами

произошел разговор без свидетелей. Однако солдатское радио, как обычно сработало безотказно. С того дня ваша любовь оказалась как бы под негласной охраной. Нам ведь было приятно чувствовать себя бескорыстными стражами, и при случае мы могли перед «чужаком» даже малость прихвастнуть:

— А вот у нас в полку есть пара!..

Всего, что случилось с нами на дорогах войны, не перечтешь. Да и надо ли перечислять? Но то место, где мы ставили точку, нельзя не упомянуть. Берлин — то место!

Помнишь, Машенька? Второго мая по центральной улице города потекли пленные, и в их многоногий шаркающий топот нет-нет, да и врывался молящий женский вскрик, немки, выглядывающие из окон, утыканных белыми полотнищами, узнавали своих близких. Все мы — пехотинцы, артиллеристы, танкисты — тогда перемешались, отодвинулись от проезжей части вплотную к домам. Мы почернели от бессонницы, в нас копилась неимоверная усталость, нам еще чудился грохот канонады, но все это смывалось освежающей накатной волной сопричастности нашей к великой победе. Мы стояли плечо к плечу, мы сидели на зачехленных орудиях, на неостывших еще танках, в кузовах автомашин, изборожденных осколками. В тяжелом молчании мы смотрели на бредущих пленных. Мы торжествовали, но что-то удерживало всех нас проявить это торжество на виду у поверженного противника. Ничего не скажешь, немцы вояки каких поискать. Но дойти до Сталинграда и капитулировать в своей столице — урок на века.

Так же, как и мы, думали, наверное, и те, которые сгрудились через дорогу, у противоположных домов. Там бушевали ликование и ненависть. Оттуда неслись многоязычные здравницы армии-победительнице, то есть и нам с тобой, Машенька. Оттуда неслись проклятья на разных языках, оттуда плевки долетали до понурившихся спин пленных, вчерашние рабы, согнанные со всех концов Европы, проклинали своих недавних истязателей.

Чтобы тебе было виднее, Машенька, ребята поставили тебя на орудийный лафет. Ты вряд ли сама заметила, в какой момент тебя покинуло оживление. Ты замерла на лафете, напряглась струной. Слезы потекли по твоим осунувшимся щекам. Ребята катали желваки, избегая встретиться с тобой глазами.

А немного поздней ты отплясывала «русскую» у Бранденбургских ворот, и около тебя гибко вился старший лейтенант артиллерист. Горько, что наш подполковник не дожил до этого дня. Он бы благословил вас.

В Берлине ты демобилизовалась и укатила со своим артиллеристом домой в Россию. Я прослужил еще год.

Сколько воды утекло с тех пор, Машенька?! Нас остается все меньше и меньше. Строй наш редеет. Но мы воскресаем в своих детях. Надеюсь, что ты счастлива, Машенька. Ты заслужила счастье и для себя, и для своих детей и внуков.

Увидимся ли еще когда-нибудь? Но боясь опоздать, спешу повторить не мной первым сказанное: да святится имя твое, ангел-хранитель наш, подруга наша фронтовая. Живи, Машенька, долго-долго. Артиллеристу своему киснуть не давай. Поклон тебе земной.